

МИЛАЯ РОЩА

Памяти мамы

Долгой-долгой ночью стучат колеса поезда, качается вагон, хлопают дверями тамбура выходящие покурить мужики. На верхней полке в мелькании фонарей – детское ожидание завтра. Свежий запах травы, влетающий в вагон на частых остановках какого-то дополнительного пассажирского поезда, и сырость дождя смутно тревожат меня, маленького человека, живущего среди сухих степных ветров. Завтра будут пересадки, ожидание другого поезда, следующего из неизвестной Рузаевки в непонятную для меня Ужовку. Вагон спит, сопя и всхрапывая, а я лежу на верхней полке подбородком на подушке, выглядывая в приоткрытое окно и провожая глазами убегające фонари. Останавливаясь на всех станциях, полустанках и просто в поле, поезд все-таки идет и медленно приближает нас к деревне, где живут бабушка и дед. На полке напротив лежат валетом, разметавшись, двоюродные брат и сестра. Снизу, уходя все дальше и дальше, затихают голоса отца и двух его братьев. В полузабытьи вижу лицо мамы, поправляющей съехавшее с меня одеяло, и я задремываю.

Мы – это моя семья и семьи отцовых братьев: дяди Вани и дяди Толи. Братьев у отца пятеро: двое старших живут в деревне, трое – в городе, в который отец в войну девятилетним мальчишкой был отправлен к бездетной тетке на пропитание. Городские дядя давно не бывали на своей родине, а я был таким маленьким, что почти ничего не помню.

Позади еще один день в ожидании маленького двухвагонного поезда, еще одна ночь в общем вагоне. В зябком сыром рассвете приближается наша маленькая станция с короткой двухминутной остановкой, поэтому мы, дети, загодя разбужены и сидим между сумок, зевая и дрожа. Поезд идет совсем медленно и отец с дядей Ваней, нагнувшись, глядят в окно и по одним им известным признакам: ручей, мельница, развилка дорог – определяют приближение станции. «Приехали», – наконец говорит дядя Иван, и все наше семейство, разобрав закрепленные за каждым из нас вещи, идет по проходу к тамбуру. Ленка и Славка младше меня на два года, поэтому у Ленки в руках только кукла, у Славки деревянный пистолет, а мне кроме надувного резинового круга доверена сетка с блестящими галошами – подарок деду и бабушке.

В окне медленно проплывают станционные постройки, деревья, низкая ограда, в разрыве которой на мокрой траве стоят лошадь, запряженная в телегу, и здоровый мужик в резиновых сапогах-бахилах, в брезентовом плаще до пят с откинутым капюшоном.

– А вот и Николай, – радостно сообщает отец.

Вагон останавливается напротив деревянного здания, на котором я успеваю прочитать – «Оброчное». Спускаемся на деревянный настил перрона. Мужик в бахилах не спеша подходит к нам, на ходу дымя душисто пахнущим самосадом. Дядя Коля – сорокапятилетний мужик с обветренным, загорелым до красноты лицом. Пока он, обнимаясь, хлопает отца и братьев по спинам, а затем неуклюже, аккуратно здоровается с невестками за руку, я с интересом рассматриваю его из-за отцовской спины.

– Ничо доехали-те? – непривычно окая спрашивает дядя Николай.

– Да ничо, ничо, – вдруг по-деревенски говорит отец, округляя слова.

Дядя тоже окают:

– Дошш-то лил, пока ехали, всю дорогу от Поворина. Грязишша. Как сам ехал-те?

– С петухами до свету встал – часа за два и доехал. Садитесь.

Он поднимает на телеге брезент, выпуская из-под него сладкий запах сена. И мы, заботливо укрытые кофтами, рассаживаемся на сене в его пахучем сухом тепле.

Путь до деревни – двенадцать верст по раскисшей черноземной дороге. Все здесь ново: синева земли, густота и синева сырой придорожной травы, синие лесные горизонты. Согретый маминым теплом и убаюканный дорожными кочками, я задремываю под разговоры мужиков, справляющихся о здоровье неизвестных мне Ивана Ильича, Таисии, Нюры с Константином. Просыпаюсь, когда дорога идет на крутой подъем, и дядя Коля, сошедший вместе с братьями с телеги, стегает вожжами остановившуюся лошадь:

– Н-но, пошла, пошла ... твою мать-то!

По сильному шоколадному крупу видно, как напрягается лошадь, рывками вывозя телегу на взгорок. Взобравшись на самый верх, идет спокойно, взмахивая длинным черным хвостом. С пригорка открывается далекий горизонт: безбрежный лес, матово отсвечивающая внизу река, серое бревенчатое село с кладбищенской рощей и голубым церковным куполом над ней.

– Мам, приехали? – спрашиваю я.

– Нет, это Папулево, мордовское село, вон там Селище, а наша деревня – дальше, там, за теми березками.

Отец слез с телеги и бодро, не обращая внимания на грязь, идет рядом, взволнованно курит и, пробежав глазами березовую рощу справа у дороги, всматривается в синюю заречную даль.

– Пап, а речка как называется?

– Речка-то? Алатырь.

– А в нашей деревне церковь есть?

– Есть. Деревянная.

Сразу за березками в речной долине открывается село. По березовой аллее съезжаем к нему. Сверху видно, какое оно большое, вытянувшееся вдоль речки несколькими порядками улиц, застроенными одинаковыми серыми бревенчатыми избами с тремя окошками и завалинками.

Въезжаем по широкой улице и останавливаемся у колодезного сруба с журавлем, стоящим между второй и третьей избами, небольшими, аккуратными, крытыми дранкой.

– Тпру, – говорит дядя Коля и кладет вожжи на телегу. В окошке избы мелькает платок, и на крыльцо выбегает бабушка, радостно всплескивает руками: ай-ба, приехали! – и целует нас всех. Ее я помню, и когда очередь доходит до меня, радостно обнимаю.

– На, бабушка, это тебе, – протягиваю ей сетку с галошами.

– Ай-спасибо, спасибо! – глаза ее светятся радостью.

На крыльцо выходит дед и, спустившись, здоровается с сыновьями и невестками, треплет нас, внуков, по плечам. У него такой же, как у дяди Коли, глухой окающий голос, загорелое лицо, светлые морщинки возле глаз, а еще – усы, пахнущие махоркой. Из телеги вынимаются засыпанные сеном чемоданы и сумки, и все мы заходим в дом.

В сенях тот же, что и в телеге, дух сена, а еще – керосина и молочный запах скотины; дверь напротив входа ведет в крытый двор, где стоит огромная корова и, разгребая дворовый сор, бестолково бродят куры. Налево – полутемная кладовка с мучным ларем у стены, направо – сама изба с огромной русской печкой. В переднем углу под иконой – стол с лавками. Бабушка суетится, накрывает на стол и спрашивает: как доехали, не болеем ли, радуется гостинцам, вынимаемым из чемоданов. Пока все рассаживаются за стол, в избу входят два пацана и девчонка.

– А-а, вот и племянники! – приветствует дядя Ваня. – Ну, знакомьтесь, чего стоите-то?

Петька и Людка – мои ровесники, Сашка – старше на два года, стоят нерешительно.

– А где ж Таньку-то дели? – спрашивает бабушка.

– А ну ее к... матери совсем, – заворачивает вдруг Людка, и я стою, ошарашенный таким оборотом речи, который приходилось слышать лишь от взрослых. Однако ни дед, ни бабушка на это никак не реагируют: в деревне так говорят все. Поначалу это кажется мне необычным, но, попривыкнув, в разговоре пробую материться сам, за что получаю от мамы по губам и понимаю: что позволено деревенским детям – не позволено нам, городским.

Изба наполняется радостной родней, знакомой мне по фотографиям: дядья, тетки. Мы, городские внуки, уже накормлены, но сидим на материнских коленях, жуя кружки колбасы и наблюдая за застольной суетой; деревенские внуки – на краю кровати, руки на коленках, следят за бабушкой, то и дело выходящей с тарелками из-за кухонной занавески. На столе кроме привезенного из города сыра и колбасы – круги домашних хлебов, соленые огурцы, капуста и грибы. Когда бабушка выносит дымящийся чугунок с картошкой, дед нетерпеливо говорит:

– Будет тебе ходить-то, – чай, закуски-те хватит. Неси стопки да сама садись.

Когда бабушка подает стопки, сыновья подвигаются, приглашая ее сесть рядом, но она садится возле деда, стоя разливающего из бутылки на дальнем краю стола.

– Ну, спасибо, что приехали, не забываете про нас, в кои-то веки собрались. Будьте здоровы.

Все звонко чокаются; выпив, с удовольствием закусывают:

– Ну, мама, и грибочки у тебя!

– Позавчера ходила в березки, к приезду вашему и засолила. Ешьте на здоровье, я еще положу.

В деревне сразу узнают о радости: к Гуровым сыновья приехали со снохами. Босоногая соседская ребятня плющит носы об окошки, а когда через полчаса в избе становится душно и створки их открываются, самые отчаянные засовывают головы в избу, вертя ими во все стороны. В избе становится шумно, дед с дядями выходит на двор показать хозяйство и покурить, женщины обсуждают свои дела. Когда все вновь рассаживаются за столом, бабушка затягивает песню:

– «Сэ-э-оловей кокушку-ей...» – низко берет она и останавливает себя. – Постой-постой. «Сэ-э-оловей...» – дважды пробует выше и наконец запекает:

Соловей кокушку уговаривал...

Деревенская родня дружно подхватывает:

Полетим, кокушка, в зелен сад гулять,

Совьем мы, кокушка, тепло гнездышко...

Долго, распевно поют песню. Снохи слушают, тихо подпевают:

Выведем, кокушка, два ячущка –

Тебе кукуенка, а мне соловья:

Тебе на потеху, а мне для житья.

Мальчишка девчонку уговаривал...

Все слова песни помнит одна только бабушка, поэтому, когда хмельной дядя Костя дотягивает «у-гова-арива-а-л» и говорит: «Все, шабаш!» – бабушка продолжает:

Поедем, девчонка, в Казань-город жить.
Казань – город славной – на горе стоит...

Довольные ладно спетой песней, радостно откашливаются, разом заговаривают, мужики вытирают со лбов пот.

– Ну-ка, Нина, спой ты что ли, – просит дед маму, – про рощу.

Мама откашливается и, глядя меня по голове, запевает:

Вот она, милая роща,
Ветер шумит надо мной,
Ветви березок полощет,
Сон нарушая лесной.

Голос у мамы сильный, звонкий, и мне приятно, сидя у нее на коленях и прижавшись к ней, почувствовать, как он выходит из груди, заполняет избу и вылетает из ее тесноты на улицу. Песню эту знают и поют все. Из-за голов любопытной ребятни в окне я вижу, как идущая от колодца с двумя ведрами на коромысле тетка сначала поворачивает голову в нашу сторону, потом останавливается и дослушивает всю песню, не замечая тяжести полных ведер. Я с гордостью смотрю на раскрытые рты ребятшек, глядящих на маму, и говорю про себя: «Это моя мама».

Когда песня допета, я выхожу вместе с Ленкой и Славкой из-за стола, чтобы поближе познакомиться с двоюродными братьями и сестрами и угостить конфетами, выданными для этого бабушкой, соседскую ребятню. Увидев нас выходящими из избы, они слезают с завалинки и подходят к нам.

– А это кто – мама твоя? – спрашивает рыжий пацан в черных коротких штанах с одной помочью, показывая на окно, в которое он до этого заглядывал.

– Да.

– А она у тебя кто, артистка?

Я до сих пор помню то чувство гордости за маму, но тогда честно сказал:

– Нет.

И они – эта окружившая нас разновозрастная компания, с босыми ногами и цыпками на руках, – они мне не поверили! Гордость эта сохраняется во мне весь месяц, который мы проводим в деревне; не убавило ее и обидное слово «городской», сопровождавшее меня все это время, несмотря на приобретенную привычку так же, как все, ходить босиком, такие же цыпки и грязные штаны.

– Хошь, я тебе жеребенка покажу? – спрашивает Петька, дяди-Колин сын, и мы идем в крытый двор. За жердями денника стоят кобыла и маленький жеребенок на длинных неверных еще ногах. Мы смотрим с любопытством, припав лбами к гладким жердям, как он осторожно прядает ушами и вздрагивает коротким волнистым хвостом.

– А как его зовут?

– Коняй.

Протягиваем ему прихваченную корку хлеба с солью и гладим его теплую морду с белой полоской и звездочкой-завитком на лбу.

До позднего вечера, пока в доме деда песни и разговоры, мы, ребятки, успеваем с Петькой побывать на речке, залезть в секретную землянку, вырытую им на огородных задах, осмотреть втайне от девчонок, ушедших с Людкой играть в куклы, Петькин тайник со спрятанным в нем складным ножом. Заглядываем в курятник, откуда, увидев нас, со страшным

шумом и кудахтаньем вылетают и выбегают во двор куры. Петька осторожно ворошит в темном углу сено и достает из него два яйца.

– Пошли, – шепотом говорит он. – Только тихо давай, а то мать узнает – выдерет.

Во дворе он сует мне в руку яйцо.

– Теплое, – говорю я, ощущая его живую теплоту.

– Знашь, каки они твердые! – неожиданно говорит Петька.

– Кто?

– Да яйца. – Он держит в вытянутой руке яйцо. – Нипошто не раздавишь так-то! Скорлупа – она, знашь, кака тверда! Только молотком или об землю.

– Да ну... – с сомнением говорю я.

– Нипошто. Спорим?

– Да чего там, раздавлю!

– А ну-ко!

Я давлю посильнее, боясь, – а ну как Петька прав! И через мгновение стою, с трудом различая через заляпанные желтком ресницы умирающего от смеха Петьку.

– Пойдем к колодцу, обмоешься, – насмеявшись, говорит он, и я иду следом за ним, держась за его руку, соображая, что драться или ругаться глупо – сам же виноват.

Петька опускает колодезного журавля с ведром и достает полведра воды, поливает мне на руки. Умывшись, я вслед за Петькой заглядываю в колодец. В глубине его темные отражения двух ушастых стриженных голов, тревожимые слетающими с ведра каплями.

– Эй! – шумит Петька в темноту колодца. Колодезный сруб гулко отзывается. – А ты знашь, из колодца звезды даже днем видно!

– Да? – удивляюсь я. – А ты видел?

Петьке хочется сказать «да», но он заминается и честно говорит:

– Не, сам не видал, Юрка рассказывал, он лазил. Хочешь посмотреть?

Сказать «да» страшно, но если Юрка лазил...

– Да ты не бойсь. Я, чай, помогу, журавля подержу. Юрка ведь лазил, а он знашь, какой тяжелый! Я бы сам полез, а ты-то легче, да и я сильнее тебя, вишь мускулы каки! – Он подносит кулак правой руки к плечу, напрягаясь изо всех сил.

Это убеждает меня, и я без сомнений сажусь на край колодца, опустив в него ноги и держась за скобку на шесте журавля.

– Ну, давай, я держу крепко, – говорит Петька.

С замиранием сердца соскальзываю с осклизлых досок и, гремя по срубу пустым ведром, лечу вниз. Не успев ничего сообразить, с головой бухаюсь в ледяную воду. Сердце мгновенно подпрыгивает к горлу, мешая дышать. Судорожно цепляясь за шест, тяну на себя, с трудом выбираясь по пояс из воды. Смотрю вверх и вижу лопухую Петькину голову. Отдышавшись, сдавленно кричу:

– Петька, тащи!

Петька пытается тащить, но сил у него от растерянности нет никаких.

– Я шас! – кричит он, и голова его скрывается за колодезный квадрат.

Я упираюсь в стенки колодезного сруба, от холодной воды колотит крупная дрожь. Через минуту слышны приближающиеся голоса, и в проеме сруба появляются головы отца и дядьев:

– ...Твою мать-то совсем! Живой?

– Да...

– Держись!

Они втроем неожиданно быстро поднимают меня, сидящего в ведре, на волю. Наверху тепло, но меня продолжает бить дрожь. Меж дядьев вижу взволнованного Петьку:

– Ну что, видал звезды? – спрашивает он и получает вместо ответа затрепину от дяди Ивана, а меня уносит в дом отец и после такой же оплеухи укладывает на печь в лоскутные одеяла.

Лежу, согреваясь и обсыхая; за печной занавеской бабушка месит тесто, выглядывает из-за нее, поправляя локтем белой от муки руки выбившуюся из-под платка прядь волос, спрашивает:

– Ну, чово, попало? Чай, испугался?

– Не-а, холодно только... Бабушка!

– А-я!

– А ты пирожки делаешь?

– Нет, хлеба. Завтра свеженьких хлебов поешь.

– А сегодня?

– Нет, нынче не буду, печку завтра затоплю и спеку.

– Ба-а-бушка, – клянчу я. – Испеки сегодня.

– Нет, внучок, печку к вечеру никто не топит.

– Почему?

– Чай, увидят на улице дым с трубы, скажут: «Неряха».

– Почему – неряха?

– Потому – кто рано встает, тому Господь дает, а кака хозяйка поздно печку топит – неряха, та и встает поздно; чай, люди по дыму-то видят...

Длинный, почти бесконечный день кончается.

Спать нам постелено под крышей двора на сеновале. Под стропилами подвешена керосиновая лампа, и пока мы, дети, счастливые, полные впечатлений, засыпаем в сладком душистом тепле колкого сена, наши родители здесь же, на сеновале, весело играют в карты.

Утром просыпаемся от того, что по дранке крыши стучит дождь. Из-под теплого одеяла не хочется выбираться, но бабушка зовет завтракать, и мы садимся у протопленной с утра русской печи и едим свежееиспеченные, горячие еще хлебы, стоявшие на столе под полотенцем, и сдобренную топленным маслом пшеничную кашу, протомившуюся в печи и покрывшуюся в горшке тонкой коричневой корочкой.

Каждый день в деревне узнаешь что-то новое. Кроме ежедневного купания помнятся белые кувшинки-лилии с тонким, словно выдавленным, узором на лепестках, подберезовики в светлой березовой роще, серый столп деревянной шатровой церкви, занятой под зерносклад, поездка за дровами с дедом и дядьями на телеге в лес, – тот самый, что при подъезде к деревне видится от горизонта до горизонта за рекой: настоящий, темный, с громадными вековыми соснами и елями. В лесу дядя обрубает сучья с упавшего сухостоя, распиливают его, чтобы уложить в телегу, мы с дедом собираем и носим сушняк.

– Дедушка, а лес этот большой?

– Большой, до самой Москвы идет.

Смотрю в лесную чащу, где уже за десятком густых елей стоит полумрак, и за ними пытаюсь увидеть далекую Москву, огромные дома и башни с горящими звездами. Обратно едем медленно. Кашляя и смеясь над собой, мужики всю дорогу курят свернутую еще дома козью ножку из крепчайшего, но душистого дедова самосада. Спрашиваю деда, идущего с вожжами рядом:

– Дедушка, а ты на войне был?

– Был. На двух даже.

Мне удивительно: как это на двух? Я-то знаю, что была одна война, когда пели «Вставай, страна огромная». Какая же еще?

– Кака? Была еще перва мировая. Да ты, чай, не слыхал про нее, а я повоевал, в брусиловском прорыве участвовал.

– Дедушка, а можно я вожжи подержу?

– Бери, не гони только.

Из лесу кроме дров и впечатлений привожу клеща. Место на животе возле пупа нестерпимо чешется, и меня загоняют в протопленную баню, после которой мама булавкой выковыривает его из-под кожи. Раскрасневшиеся после бани дядя с дедом обедают, приняв, по выражению деда, «для ипититу» по две стопки.

Наш приезд в деревню совпадает с важным для нее событием: по улицам ведут электричество. Вдоль домов автобуром насверлены глубокие узкие ямы, лежат столбы с черными комлями, знакомо пахнущие железной дорогой. Мы с Петькой возле ямы у дедова дома на спор меряем палками ее глубину. Палки короткие, и Петька для верности бросает в яму кусочек глины, прислушиваясь, когда он стукнется о дно. На крыльце незаметно появляется дед, но мы увлечены замерами и не видим его. Электрический огонь для деревенских – почти священный, ожидаемый ими с нетерпением, и всякая помеха в работах по его проведению для них – натуральное вредительство. Дед наш конюх, и за голенищем его сапога всегда профессиональный инструмент – кнут, который он теперь держит в руках. Сейчас кнут как нельзя кстати:

– Ты чово, пашщец, делаешь! – он резво подбегает к нам. Петька соображает быстрее меня и уже стоит на другой стороне улицы у дома Бобылевых. Пока я вспоминаю, как дед предупреждал нас утром, чтоб не лезли к ямам и не бросали в них ничего, он под горячую руку больно обжигает кнутом мою спину. – Гляди, стервец, и тебе дам лешша, приди домой-то! – кричит он Петьке, и пока я реву от боли и обиды за незаслуженное наказание, дед вдруг начинает заступаться за меня, вспоминая Петькины проказы:

– Ты чому ево учишь?

– А чово? – искренне не понимает Петька, много чему успевший научить меня за несколько дней: курить, делать дудки из тыквенных трубок, жечь костер на огородных задах, лазить за смородиной в чужие огороды.

– Чово?! А я вот те покажу щас, как подговаривать ево мордовку материть!

Первым из Петькиных уроков был урок мордовского языка. Три-четыре фразы по-мордовски, правда очень своеобразного содержания, были заучены мною в десять минут, и случай проэкзаменовать меня предоставлен был Петьке сразу: по улице в магазин шла папулевская мордовка.

– Ну-ка, скажи-ка ей ето, – тихо подталкивает он меня.

И я кричу тетке через улицу свежезаученную фразу. Тетка от неожиданности останавливается, удивленно смотрит на нас. Я продолжаю по порядку. Теперь она ставит сумку на землю, качает головой:

– Ай-ба! Как не стыдно тебе.

И тут я произношу, судя по ее реакции, коронную фразу. Она ищет на земле что-нибудь подходящее и потом пытается догнать нас, убегающих по предварительно намеченному Петькой пути отступления. Из-за сараев соседнего двора мы наблюдаем, как она кричит во всю улицу:

– Бесстыдники! А вот я родителям скажу, ухи-те вам пообрывают!

На шум из окошка высовывается Бобылиха:

– Чово кричишь-то?

– Чово? Ты слыхала, как оне меня по-мордовски обложили! Чьих это мальчонка с Петькой?

– С Петькой-то? Их же, Гуровых, городской. Сына ево, Василия!

– Ну ничово, я с магазина пойду, зайду к дяде Лексею... Вот я вам, – грозит она в нашу сторону и идет дальше, досадно качая головой.

Свое обещание она выполнила, и уроки мордовского не прошли для Петьки бесследно.

За месяц, проведенный в деревне, сыновья напилили и накололи старикам на зиму дров, перекрыли сарай, поправили забор и ворота; снохи помогали бабушке: занимались огородом, картошкой, сбором ягод, засолкой грибов, поделали уйму мелких дел. Мною за это время начисто забывается город, босые пятки покрываются темной, бесчувственной даже к стерне коркой, речь наполняется новыми деревенскими словами, запрещенными к употреблению при родителях.

Накануне отъезда топится баня, отпариваются цыпки на ногах и руках, укладываются в чемоданы вещи и завернутые по отдельности в газету яйца. Ранним утром все выходим на крыльцо, возле которого стоят запряженная дяди-Колина Лыска и сам дядя Коля в неизменном брезентовом плаще. Все долго прощаются, усаживаются в телегу. Петька стоит рядом, и по его глазам и белым ресницам видно, как он жалеет, что после моего отъезда ему нечем будет верховодить. Я сижу на маминых коленях, и мне тоже не хочется уезжать с этой воли. Достаю из сумки резиновый круг, надуваю его и протягиваю Петьке:

– На, бери.

Петька берет круг, подумав, лезет в карман, разжимает кулак: на нем – складной ножик:

– Это тебе...

Больше говорить нечего. Телега трогается и, отъезжая, я вижу, как бабушка вытирает глаза краем платка и мелко крестит нас на дорогу.

На взгорке у рощи горизонт поднимается, и вновь, как в первый раз, блестит под горой излучина реки, темнеет за ней синий лес, машут, прощаясь ветками, березы...

Хочется белым березкам
Низкий отвесить поклон,
Чтоб заслонили дорожку,
Ту, что ведет под уклон.

Всякий раз, когда я слышу слова или мелодию этой песни, вспоминаются мамин голос, березы, – и вся эта песня кажется так похожей на ее жизнь.